

Виктор Точинов

Молитва Каина



Виктор Точинов
Молитва Каина

«Точинов Виктор»

2015

Точинов В. П.

Молитва Каина / В. П. Точинов — «Точинов Виктор», 2015

Произведение Виктора Точинова, представляющее собой журнальный вариант романа, основано на историческом материале и описывает времена Екатерины Великой. В центре авторского внимания кровавое столкновение представителя, как сейчас говорят, спецслужб и государственного преступника, сдобренное некоторым количеством фантастических реалий. Как всегда, у Виктора Точинова, – острый увлекательный сюжет и проработанный язык.

© Точинов В. П., 2015

© Точинов Виктор, 2015

Содержание

Пролог	5
I	11
II	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Виктор Точинов

Молитва Каина

Повесть времен царствования Екатерины Великой¹

Пролог

Лягушачий князек и Царь-жаба

Ника нес свою шестиаршинную жердь на плече, оперев серединой, чтоб не клонилась, и шагал деловито и серьезно.

Алеша, напротив, развлекался, как только мог придумать: то подхватывал жердь за конец и, зажавши под мышкой, изображал рыцаря на турнире, то поворачивал поперек пути и шел по одной линии, будто ярмарочный канатоходец.

Ника, чуть не лишившись зрения от неловкого движения брата, благоразумно поотстал, – пусть себе тешится.

Тем временем кустистая пустошь закончилась, впереди зеленели заросли камыша, братья миновали их быстро, приблизившись к первым чистым разводьям. Здесь жерди потребовались не для игры, для дела: ими надлежало нащупать неприметную при взгляде сверху тропку – гать, ведущую якобы дальше, к самой сердцевине болотца.

Ника, впрочем, полагал, что Митрошка, подпрапорщиков сын, все им наврал и тропку они не найдут.

Митрошка врал, как дышал, легко и естественно, и все про то ведали. И все же многие попадались на его выдумки, уж слишком складные получались истории.

Чего стоила, к примеру, байка, что у местных чухонцев языки имеют устройство, весьма отличающее их от языков нормальных людей. Языки у чухонцев даже не раздвоенные, на манер змеиных, но делятся натрое! Да, да, именно так, и если заставить каким-то обманом чухонца выставить подальше язык (чего они, чухонцы, по ясным причинам избегают делать), то всякий сможет заметить по бокам два извивающихся дополнительных отростка.

Чушь и полная ерунда, и скушать этакое блюдо сможет лишь самый доверчивый из малолетков, годов пяти, а шестилетний уже усомнится? Нет, все зависит от того, под каким соусом и с каким гарниром повар подаст свою стряпню, порой и рассудительные молодые люди одиннадцати лет от роду кушают и не морщатся...

Митрошка свое блюдо подал с шиком французского кулинара: обложенное гарниром из мелких и достоверных подробностей и политое соусом – отсылками к свидетелям, реально существовавшим...

К тому же имелась у вранья Митрошки особенность: какой-то подтверждающий вранье резон, очевидный и убедительный, он намеренно не поминал – чтоб слушатели сами припомнили и получили подтверждение как бы со стороны. Так случилось и в тот раз: братья сообразили ненароком, что иные чухонские имена и названия и впрямь созданы не для языка с обычным устройством, не вдруг и выговоришь...

В общем, они с Алешей скушали. Поверили.

И даже упросили папеньку завернуть в чухонскую деревушку, под хитро выдуманным и благовидным предлогом. Но там опозорились, пытаясь повторить опыт Митрошки, якобы раскрывший ему великую чухонскую тайну, и были взяты с поличным, и по спросу во всем сознались... После чего папенька опыт довершил самым решительным образом: велел троим

чухонцам высунуть со всей мочи языки, вознаградив каждого гривенником. А в качестве финала научного экзерсиса прописал сыновьям горячих, немного, но чувствительно.

После того случая приступились они с братом Митрошку бить, но тот отвертелся, растолковав: не к той чухне ездили, то были ижорцы, а особенные языки лишь у карелов да шуми-лайненов, – и так убедительно сплетал правду с вымыслом, что они не то чтобы вновь поверили, но все ж оставили Митрошкино вранье под вопросом.

Словом, если затеялся бы кто-то учредить Департамент врунов или же Враль-коллегию, то Митрошка бы имел все виды на блестящую там карьеру.

И вот теперь история с Царь-жабой, живущей якобы здесь, на болоте.

Нет тут никакой Царь-жабы, и тропки к середине болота тоже нет. После конфуза с чухонскими языками (и после выписанных горячих) Ника относился к вранью Митрошки с опаской, Алеша же загорелся новой историей, он вообще был непоседливее брата.

Едва Ника решил звать брата домой – поиски гати длились уж с полчаса, успеха не принося, – над болотцем прокатился крик:

– Наше-о-о-ол! Истинно, вот она, гать!

Голос у Алеши был звонким, но крик в тумане прокатился глухой, искаженный, словно и не брат крикнул, чужой кто-то с той же стороны...

Ника оборотился, сам он уже тыкал в воду жердью лишь для вида, на успех поисков не надеясь.

Алеша стоял с лицом возбужденным, раскрасневшимся. И что он там нащупал, поди пойма. Ника подошел, проверил своей жердью, и впрямь, – под слоем воды и болотной жижи что-то твердое прощупывается. Коряга?

Коряг тут хватало – и виднелись над водой, и валялись, где посуше. Иные были затейливо перекручены и изогнуты, и торчавшие из них заостренные остатки ветвей или корней напоминали рожки: словно повыползали из топи черные и многорогие болотные гады, – и застыли, одеревенели.

Он пощупал рядом – твердо. Перенес конец жердины на аршин вперед – тоже твердо. Не бывает таких коряг. Значит она, тропа. Хоть в чем-то Митрошка не врал... Никакой радости Нике сей вывод не доставил. Потому что если не врал и в остальном – то существо здесь можно встретить не самое приятное...

Час стоял ранний. Поднялись и вышли они на рассвете, а болото было недалече. Никто бы, разумеется, в такую рань их на прогулку не отпустил, не зайди даже речь о топи. Но они и не спрашивались.

Над болотом низко стелился туман, доходя местами где до груди, где до пояса. Был он не слишком густ, но уже чуть вдали все виделось смутно, а еще дальше так и вовсе ничего не разглядеть.

И куда ведет гать – если протянута без извивов, в прежнем направлении, не понять. Может там и впрямь трон Царь-жабы, может что иное, а может вовсе ничего нет... Ну вот проложили зачем-то путь через болото, чтоб не обходить, круга не давать, – а Митрошка про то разведал и все остальное досочинил.

Пойти в туман и проверить, что там, не хотелось.

– Может, другим разом сходим? – предложил Ника. – Гать нашли, пометим ее, а потом днем сходим, безтумана, зряче.

Алеша задумался ненадолго. Посмотрел критически на себя, на брата, и постановил:

– Нет уж, вдругорядь я сюда не сунусь. Нам и за сегодняшнее пропишет папенька ижицу, а за другой раз повторит, да сильнее... Так зачем нам за один грех две кары влечить? Все единым разом покончить надо.

Рассуждение Алеши показалось брату основательным. Вид у них был и впрямь не тот, чтоб обойтись без ижицы. План похода сюда предусматривал, что высокие, почти до колен,

сапоги сохранят своих владельцев от болотной грязи, а будучи сняты, скроют все следы преступления.

Но всем ведомо, что сбываются планы гладко на бумаге, да еще при устном их обсуждении. На деле же братья порядочно изважались, даже на добравшись до гати. И поход их незамеченным и безнаказанным не останется.

– Тогда пойдем, – согласился Ника.

– Семь бед – один ответ!

– У нас всего две беды намечались... – возразил Ника, любивший точность; в науках, связанных с чертежами и вычислениями, он был сильнее брата, Алеша брал свое в дисциплинах, требующих более воображения, чем усидчивости.

– Неважно, семь или две, – махнул рукой Алеша. – Пошли, я первый!

Он любил быть первым, а Ника не возражал, он был лишен тщеславия, уж уродился таким.

Они ступили на гать, погрузив сапоги почти доверху, но нимало не беспокоясь, что доведется хлебнуть через край, – внутрих и без того давно хлюпало.

Пошли... Алеша первый, Ника поотстав на длину жердины, даже чуть далее, брат и здесь мог затеять игру с палкой, он такой. Двинулись в туман, к трону Царь-жабы, – если, разумеется, верить вруну Митрошке...

Многие, говорил им Митрошка, не различают Царь-жабу с лягушачим князьком и ошибаются. Лягушачий князек хоть всего лишь раз в сто лет в одном болоте родится, но встретить его можно много где, болот-то на свете хватает. Охотник Селифан, что с деревни Крутицы, Клыкино тож, встретил лягушачего князька минувшей осенью, когда ходил по уток, и даже застрелил. Всю зиму князек провисел к нему в амбаре, на показ, но стух весной и выкинуть пришлось. И многие ходили смотреть того князька, и он, Митрошка, ходил. Но ничего особого в лягушачем князьке не имеется: лягуха и лягуха, только размеров невиданных, с большого зайца примерно, да еще под кожей у князька кое-где мясистые желваки выросли, с кулак примерно будут.

Царь-жаба же иное дело... Она только здесь водится, на их болоте, потому как болото не простое, особенное. Ну, так уж повезло им... Болото у них хоть невелико, да бездонное. Нет, конечно, где-то все же дно имеется, может в версте, может в двух от поверхности. А на вид неглубоко – вода прозрачная, и кажется, вот оно, дно, рукой достанешь. Но если взять жердину, хоть десятисаженную, и торчком в то дно опустить – до конца вся уйдет, твердого не нащупает. Нет там дна, одна видимость, жижа илистая... Для Царь-жабы такая жижа – самое разлюбозное дело, она в ней живет-обитает, и чем больше жижи, тем лучше, потому как на зиму Царь-жаба на дно ныряет, до весны спать, да только если мелкое дно, доступное, тогда спится ей не крепко и тревожно, – вынырнет вверх и замерзнет враз, окостенеет от морозу. Многие видали, как лягухи по зиме костенеют, вот и Царь-жаба так же. Только лягухи потом оживут и вновь заскачут, а Царь-жаба нет – оттаявши, в жижу черную и зловонную превратится. Таким манером по всем болотам Царь-жабы и перевелись, только здесь одна и осталась. Одну из последних, по зиме замерзших, кривой Евдоким нашел, тот, что мельник под горой Пулковской. Давно уж тому, лет с десятков будет. Увез к себе, чтоб народ подивить, да сдуру не в холодных сеньях положил, а в дом затащил. Утром глядь: лужа черная на полгорницы, и смердит, хоть святых выноси. Многие ту лужу видели и смрад тот нюхали, потом половицы Евдокиму пришлось менять, так все вьелось...

Длинные жердины братья Волковы прихватили как раз для проверки рассказа о бездонности их болота – гать и вдвое меньшими нащупать можно. Когда удалились от стены камыша саженей на тридцать-сорок, пришло время проверки.

Проверять выпало Нике – Алеша шел впереди, нащупывая дорогу, а братова жердина оставалась не при деле. Если застрянет, не вытащится – убыток небольшой, одной обойдется.

- Ну давай, проверяй, – понукал Алеша, остановясь и поворотившись к брату.
- Может, на возвратном пути? – предложил Ника. – Одна хорошо, а две надежнее.
- Да вон уже, трон виднеется! Совсем рядом... давай, проверяй.

Ника всмотрелся в ту сторону, куда указывал брат. Там и вправду проступал сквозь туман некий предмет, большой и темный. Смутно проступал, толком не разглядеть. Алеша стоял к нему ближе, чем брат, и, возможно, мог видеть лучше.

По словам Митрошки, у Царь-жабы, как у любого себя уважающего монарха, имелся трон. Выглядел он как огромный старый пенёк – не палаты царские вокруг, болото все же.

Многие на болото ходили и пенёк тот видели, и он, Митрошка, ходил. Большой пенёк, основательный, так и Царь-жаба не мала, лягушинный князек рядом с ней – как воробей рядом с аистом. И они, Ника и Алеша, могут к пню сходить, если гать найдут. А саму-то Царьжабу по светлу не увидеть, спит она днем, лишь по ночам появляется, если ее не потревожить, конечно. А вот пенёк посмотреть братья могут.

Тут уж даже Алеша возмутился: чего им ради в топьто лезть? Ради пня обычного? Уж они пней повидали...

Митрошка остался невозмутим. Пенёк тот не обычный, а громадный, такой пенёк еще поискать. А главное – отметины там есть, на пне, от когтя Царь-жабы, по бокам весь тот пенёк изодран, и следы когтя хорошо видны. Тем когтем Царь-жаба цепляется, когда на трон залезть хочет.

Коготь же у нее всего один, и на одной передней лапе, на правой. Зато какой! По размеру как сплавной багор будет, только костяной и острее в десять раз. Да то по пню хорошо видеть – дерево мореное, прочное, а взрезано глубоко, словно баклушка липовая.

Другая передняя лапа, левая, у Царь-жабы и того странней, – ну точно рука человеческая. Все при ней, и пять перстов, и гнутся, где полагается, и ногти нормальные, плоские, с когтями не схожие. А почему оно так, Митрошке неизвестно. Но Царь-жабы все такие были, у мельника Евдокима от той, что нашел, коготь уцелел, в жижу не обернулся. Он его к палке подвязал, и ведро из колодца доставал, если обронит, и многие тот коготь видели. Но потом отвязался и утонул невзначай, до сих пор, верно, в колодце лежит.

И еще одна особенность у Царь-жабы имеется. Та лапа, что с когтем, у нее удлиняться может по хотению. Не безразмерно, но далеко – то лапа как лапа, а то выпрыгнет будто, когтем зацепит, и обратно втянется...

Позже, поразмыслив, Ника понял: выпрыгивающая когтистая лапа – очередной Митрошкин хитрый кунштюк: пусть-ка братья вспомнят, что у лягух язык тем же манером работает, сравнят, призадумаются...

Брат настаивал, и Ника нехотя тыкнул жердью в разводье совсем рядом с тропой, думая, что уж там-то до конца не уйдет. Дно там – вернее, верх жидкого илу, – виднелся в полуаршине от поверхности. Конец жердины коснулся того как бы дна и пошел дальше невозбранно, словно и нет там ничего, одна видимость.

Половина жердины ушла вниз без приложенных к тому усилий. Нике стало неприятно... Сделает он, или Алеша, лишь один ошибочный шаг – и так же ухнут в топь. Нет, неправильно, не то слово. Ни ухнут, и ни ахнут, и ни охнут... Разве что булькнут, – потом, пузыри пустив.

- Уткнулась? – спросил Алеша.
- Ежели бы... Сам держу.
- Ну так не держи, далее опускай...

Он стал опускать. Дна не было, сопротивления ила тоже. Вскоре над водой торчал коротенький, ладонью ухватить, огрызок жердины. Была и нету, вся там.

- А еще дальше? – не унимался Алеша. – Руку в воду спустивши?
- Зачем? Думаешь, еще на четверть лишнюю опушу, так и дно нащупаю?

Ему не хотелось макать руку в воду, тянуться к илистому дну... вдруг там и впрямь этакое... с когтем...

Умом он понимал, что ежели Царь-жаба не существует, то руку макать можно смело, а если паче чаяния существует, то достанет своим выскакивающим когтем даже тут, на гати, макай, не макай... Он все понимал, но руку в воду опустить не хотел.

Но Алеша настаивал, и Ника вдавил вниз торчавшее над водой и слегка, самую малость, обмакнул кисть руки. Вода была теплее, чем он ждал.

– Бечевку не взяли... – сказал Алеша. – Вторую б надвязали, и туда ж...

Нике идея не понравилась. Надвязали бы, и обе жерди канули бы, так что не вынуть... А Митрошка настаивал категорически, что нельзя тут ходить без слег – слегами он называл длинные палки, братьям такое слово было непривычно. Ежели в топь провалишься, первое дело поперек слегу бросать, за нее держаться, тогда не пропадешь.

В общем, хорошо, что не взяли бечевку...

И тут бечевка как на грех сыскалась в кармане у Алеши. Вернее, не совсем бечевка – бечевочная праща.

Алеша этим летом затеял освоить древнее искусство Давида, но после двух высаженных окон поостыл и теперь приискивал, кому бы прашу подарить или с кем сменяться.

Ника решил, что надо произвести опыт: попробовать вытянуть первую жердину обратно. Решил – и потянул, не откладывая.

И тут произошло странное. На несколько вершков жердина вышла легко, а затем замедлилась, пошла туго и вовсе остановилась – всей своей силы Ника к ней покамест не приложил.

Он не мог взять в толк, что произошло... Кабы палку стиснули объятия болотного ила, так она и сразу бы не двинулась... А так пошла и словно бы потом зацепилась за что-то. Разумеется, внизу, в иле, может быть все, что душе угодно... Вот только зацепиться за «что угодно» палке решительно нечем... Гладкие жердинки у них, не только все сучки срублены, но даже кора с них ошкурена. Палку – там, внизу – можно было остановить, лишь за нее зацепившись, либо ухватившись. Большим острым когтем. Или лапой, напоминающей человеческую руку.

Алеша не замечал раздумий брата – отложив свою жердинку, он разбирал прашу, спутавшуюся в кармане.

Ника не понимал, что ему лучше сделать: пытаться все же вытащить жердину, либо бросить и сказать брату, что застряла.

Ничего надумать он не успел – жердина ощутимо дернулась, опустившись примерно на вершок. Рука хорошо ощутила не то рывок, не то толчок, передавшийся по палке откуда-то снизу.

«Алеша!», – хотел крикнуть он, но ничего не получилось, с пересохших губ сорвалось нечто невнятное и негромкое, словно глотку стиснула чужая рука, не позволяя проходить крику.

Палку вновь дернули снизу, и она утонула еще на вершок. Он вцепился двумя руками, держа изо всех сил, толчки повторялись, но он уже не пускал жердь вниз, не понимая, к чему это делает, но казалось, что отпустит – и случится... он сам не знал, что случится... ничего хорошего...

– Лешка! – сумел он наконец крикнуть.

– Погоди, узлом схлестнулась... не распутать... – досадливо откликнулся брат.

– Палку тянет! Из рук рвет!

– Ой, ври... Не тягаться тебе с Митрошкой, братец...

– Говорю же... – Ника осекся, сообразивши, что происходит.

Кто-то там, в глубине, отнюдь не пытался отобрать жердь, зачем она ему. Тот, кто сидел в топи, по жерди поднимался. Перехватываясь то когтем, то пятипалой лапой. Своим дурацким тыканьем в глубину он невзначай пробудил Царь-жабу.

Он увидел сквозь слой прозрачной воды: ил как раз у жердины начал горбиться, взбухать огромным нарывом... Что-то протискивалось сквозь жижу к поверхности, и немаленькое.

Ника завопил во весь голос. И толкнул жердину от себя, вниз.

Ил тут же пришел в подвижность, вода взмутилась на большом протяжении, став непрозрачной. Движение Ники никак не могло вызвать такие возмущения...

Он отпрянул на другой край гати, чуть не свалившись по ту сторону. И услышал громкий всплеск там, где стоял Алеша. Царь-жаба, испугнутая движением Ники, метнулась туда... Он хотел крикнуть: «Спасайся!», но, едва поворотившись, увидел, что брата на гати нет. И рядом нет. Алеши вообще не было видно, лишь валялась наискось тропы его брошенная жердь.

Ника застыл. Он не понимал, что нужно сделать. Будь все на реке или озере, он уже нырнул бы на помощь, он умел глубоко нырять с открытыми глазами и долго задерживал дыхание.

Но здесь не река и не озеро. Сюда нырнув, никому и ничем не поможешь, только сгинешь рядом без толку...

Он сообразил, что надо протянуть жердь, чтоб Алеша мог ухватиться, но не мог понять, куда ее протягивать. Водная поверхность по левую руку от гати колыхалась на большом протяжении, волновалась, отражая что-то происходившее под водой, но где именно был источник возмущений, не понять.

Ника метнулся к жерди, чтобы попробовать наудачу нащупать брата, все же лучше, чем стоять истуканом.

Шагнул раз, два, – и вновь замер. Он увидел руку. Рука поднялась из воды по запястье и тянулась к нему. Возмущения воды прекратились. Рука торчала над гладкой поверхностью.

Жердина уже не была нужна, он мог бы дотянуться и так, не сходя с гати.

Ника медлил. Мгновения тянулись годами, но он медлил и не понимал, как брат оказался там, пронырнув сквозь топь...

Потом он услышал зов, призыв о помощи. Бессловесный жалобный стон. Он мог усомниться: как такое возможно, звуки из-под воды не доносятся, – но слышал и не сомневался.

По пальцам тянувшейся снизу руки пробежала легкая дрожь, и были они неправильного цвета, сероватосинего.

Он понял, что брата у него больше нет. Брата сгубила Царь-жаба, а сейчас доберется до него.

Ника бросился по гати назад, умудряясь чудом не промахнуться и не свалиться в топь. Жалобный зов о помощи преследовал и стал громче и настойчивее, но он уже не верил мороку.

Он почти выбрался, здесь уж было мелко и твердое дно, и он был в шаге от сухого, от болотных кочек, поросших мхом, когда почувствовал краем глаза какое-то движение сзади, он начал оборачивать голову на бегу и сумел заметить нечто длинное и загнутое на конце, стремительно рассекающее воздух, но больше не успел ничего, и туманное утро сменилось для Ники бездонной черной ночью.

Он рухнул на самой границе двух сред, ноги остались в воде, остальное тело на суше, и лежал недвижно. Лужица крови плеснулась из его головы на зеленый мох. Рядом, у самой щеки, случилась коряга, и часть крови пала на нее.

Коряга была черная, затейливо перекрученная и изогнутая, и торчавшие из нее заостренные отростки напоминали рожки: словно выполз из топи многогогий болотный гад, – и решил полакомить себя свежей кровью.

I

Каин

Под утро приснилось, что он снова в Ливорно. Это мог быть любой из средиземноморских городов: узкие улочки, прокаленные солнцем, двухэтажные желтые домишки с крохотными балкончиками, никаких примет, позволяющих определить место... Но там, во сне, стоя на неровных, разнокалиберных булыжниках мостовой, он знал точно: Ливорно.

Где-то невдалеке было море, он не видел его, не поворачивал взгляд в ту сторону, но чувствовал ни с чем не сравнимый запах, некий *cocktail de la mer* из легких ароматов морской соли, и корабельной смолы, и высыхающих на берегу водорослей...

Но он не смотрел на море. Он смотрел вверх. Потому что на балкончике, прямо у него над головой, пел карлик – гнусная, богосквернящая пародия на человека. Тельце искореженное, перекошенное; ветхое и неимоверно грязное рубище доходило до середины бедер, едва прикрывая срам, – вот и вся одежда. Босые ножки карлика, казалось, побывали в руках безжалостной прачки, скрутившей их тугим жгутом, словно досуха выжимая белье, да так и оставившей.

Лицо же уродца... На лицо он почему-то не мог взглянуть или не желал: взгляд скользил по искривленным ногам, по заплатам рубища, – и не поднимался выше. Да и ни к чему: он спешил... Не знал и не помнил, куда и зачем, однако спешил, и надо было уходить с этой улочки, но подошвы будто прилипли, намертво приклеились к раскаленной мостовой.

Потому что карлик пел. И как пел!

Слов он не смог разобрать, не угадывал даже язык – точно не итальянский и не латынь, да и не в словах дело... Завораживал, не позволяя сойти с места, голос отвратного создания: высокий, чистый, играючи бравший самые трудные ноты... Ангельский голос. Словно и впрямь где-то на крыше, за трубой, притаился певший ангел, – а уродливый бесенок, передразнивая, открывал рот да воздымал руки над головой.

Он слушал. Пение становилось все громче, а мелодия – все тревожнее. Тени домов сгустились, выхватывая, вырезая из мостовой куски – пятна непроглядного мрака. Солнце палило нестерпимо. На желтые фасады – сверкающие, ослепляющие – было не взглянуть. И – никого, ни единой живой души на странной улочке, лишь одинокий слушатель концерта на непонятном языке, застывший на границе света и тени.

Он понимал: надо уйти, и немедленно, и понимал другое – не уйдет. Нет отсюда путей.

Карлик взял вовсе уж высокую и громкую ноту, нестерпимую для уха. Тянул и тянул – долго, бесконечно долго, так не сможет никто из рожденных под небом, не хватит воздуха в легких... Голос уже не казался принадлежавшим ангелу, разве что падшему.

Он хотел крикнуть: «Замолкни! Прекрати!» – но остался безгласен.

Терпеть далее не было никакой возможности, и он понял, что не выдержит, что голова сейчас развалится на куски от демонического крещендо.

Но вместо того не выдержал город, да и весь окружающий мир. Небо от зенита до горизонта раскололось, расселось огромной черной трещиной, словно на небесные сферы обрушился исполинский колун, сжатый неведомо чьими исполинскими руками.

За трещиной не было ничего, черная бездонная пустота. От нее поползли в стороны, зазмеились новые трещины, раскалывая и небо, и землю, и до сих пор невидимое море... Солнце разлетелось на пылающие осколки.

И они погасли. Дома проваливались в черную пустоту, проваливалось и исчезало все, и скоро не осталось ничего – лишь он и дьявольское пение, уничтожившее все сущее...

Потом он тоже перестал быть. Потом проснулся.

Бричка стояла. В щель раздернувшегося полога сочился рассвет. Снаружи лениво и без азарта переругивались два голоса, причем один был южнорусским, с малороссийской мягкостью произносил согласные. Другой явно принадлежал местному туземцу-чухонцу. Он не знал, зачем это определил... Машинально, по привычке.

Даже не вслушиваясь в суть разговора, он понял: бричка на станции, и ругаются ямщики. Судя по рассветному часу, станция Пулковская, последняя перед столицей. Поспать удалось чуть более трех часов. Не так уж плохо для тряской дороги...

За много лет он выработал привычку: вставать сразу же, едва пробудившись. Даже когда поспал мало. Телу лучше знать, в чем оно нуждается. Нужен сон – тот придет даже под пушечную канонаду. А ежели не пришел или рано ушел... Значит, не так уж нужен.

Возможно, с годами, ближе к старости, теорию придется пересмотреть. Возможно, пузырек с лауданумом станет верным и надежным спутником... Но он допускал такую перспективу лишь умозрительно и в глубине души был уверен, что до старческой немощи, – а вкупе с ней до отставки и пенсионера, – не доживет.

Едва начнет сдавать: ослабнет рука, или близорукость поразит зрение, или, что всего хуже, утратится не раз выручавшее чувство опасности, – тут-то все и закончится. Оно и к лучшему... Старости он побаивался. Он не знал, как с ней бороться, а ежели бы и знал, все равно проиграл бы. Но лет хотя бы с пяток еще прожить надеялся – днями, на Сорок воинов-мучеников, ему сравнялось сорок семь. Для его поприща – долгожитель, патриарх с Мафусаиловым веком...

Лошади оказались выпряжены. Северьянов куда-то отлучился, а рядом вяло переругивались двое, спор шел о деньгах, но в суть он вникнуть не успел, – при виде его спорщики тут же смолкли.

Ямщиком, вопреки первому мнению, был лишь один из них, из местной чухны, из водской, – от русского по виду не отличить, но говор выдает.

Зато второй сразу вызвал подозрение... Казак, лет тридцати, по виду не увечный, – что он делает здесь, вне полка? В военное-то время?

Обувь с одеждой скорее приличествуют верхнему Дону, или же среднему: на ногах мягкие, без каблуков, сапоги-ичиги и синие казачьи шаровары, но в них заправлена русская рубаха, а низовые казаки предпочитают носить вместо нее бешмет... Меж тем тип внешности более характерен для низовых, чьи предки нередко мешали кровь с турчанками да черкешенками: черноглазый брюнет, и по лицу ощущается присутствие азиатских кровей... Да и говор не верховой.

Казак был непонятный.

Он же всего непонятного не любил – и спиной, не разобравшись, к непонятному не обращивался.

Примолкнувшие спорщики от его пристального взгляда повели себя по-разному. Ямщик бочком, бочком, да и в сторонку. Казак остался на месте, смотрел без смущения.

– Кто таков? – спросил он, мысленно составляя словесный портрет казака и сравнивая, опять же мысленно, с теми розыскными листами, что помнил.

Память у него была безупречная, многие завидовали. Но не вспомнилось ничего определенного, а под общие приметы многих подвести можно... Не слишком-то благонадежен портрет словесный в видах опознания, – в отличие от маслом писаного, так ведь на каждого Ваньку-душегуба живописцев не напасешься. Эх, вот придумали бы затейники-немцы механизм, чтобы сам парсуны человечьи писал, да не долгими часами, а разом: дернул рычажок, повертел ручку, – и вот он, твой Ванька: и с лица, и с профиля, и в полный рост... Цены бы такому механизму в розыскных делах не было.

Казак приблизился, доложил бодрым голосом:

– Полка Кутейникова урядник Иван Белоконь, ваш бродь! Ныне в своекоштном отпуску для поправления здоровья.

Он не стал поправлять и растолковывать, что обращаться к нему следует не «ваше благородие», а «ваше высокоблагородие», – ни к чему служивому голову гражданскими чинами забивать.

– Ранен? Под Перекопом? Иль под Гёзлевым?

Вопрос был с подвохом, из двух названных дел казаки Кутейникова участвовали лишь в первом.

– Никак нет, вашбродь, в сеголетошной кампании не довелось. В минувшей был в деле под Бендерами, так и там Господь сохранил. В Лисаветграде, на зимних хвар терах, занемог: гнили и ноги, и грудь. Божьей милостью едва выживши... На поправку пошел, да ослабший стал дюже, и от службы на год отставлен.

Звучало все складно. Но одежда, не соответствовавшая типу лица и говору, оставалась темным пятном.

– Кутейников... Кутейников... – сказал он раздум чиво, словно припоминая. – Кутейников Ефим...

Он замолк и прищелкнул досадливо пальцами, словно и впрямь позабыл, как величают полкового командира. Тут бы казаку и помочь, подсказать, ан нет, – молчал. Он спросил сам:

– Как по батюшке-то полковник ваш будет?

– Дык... Ефим Митрич они...

– Точно... Худая память стала, дырявая... Сам-то откуда?

– Станица Глазуновская, что на реке Медведице.

Все правильно, в полку Кутейникова тамошние казаки и служат... И он спросил напрямую:

– А раньше где жил?

– Дык аксайские мы спервоначальнo... Батка с Ми нихом Хотин-город воевал, там и сгинул, когда мамкаеще мною тяжела ходила. Через семь годков вдругорядьзамуж вышла, за глазуновского казака, туда и перебра лися.

Теперь все совпало и сложилось. Но раз уж начал, так следует и последнюю неясность прояснить: каким ветром занесло болящего казака в питерские палестины?

Он спросил, и Иван Белоконь доложил, по-прежнему без запинки: добирается, дескать, чтобы повидаться со старшей сестрой, с Феклой, семь годков уж не видались. Та здесь замужем за приказчиком купцов братьев Глазьевых.

Ишь, как брат к сестре прикипел, через пол-России к ней поехал... Впрочем, случается. Тем более что рос с отчимом, да еще на новом месте, среди чужих людей. Не диво, что ближе сестры никого у подрастающего казачонка не было.

Складно, складно... Да вот только вступил казак в еще одну ловушку, сам того не заметив.

Купцы-то Глазьевы старой веры держатся... И приказчиков подбирают из единоверцев. А тем жениться на никонианке – такого и представить нельзя. Все бы ничего, на Дону старообрядцев с преизбытком, и не его то забота, пусть ими Синод занимается. Но...

Но казак осенил себя крестным знамением – машинально, сам не заметив за разговором, – когда упомянул Господа и свое исцеление. И перекрестился троеперстно.

– Из староверов будешь? – спросил он, уверенный, что казак уже не помнит свой машинальный жест.

И узнал, что урядник Иван Белоконь веру сохранил отцовскую, православную. А вот сестра, та перешла к старообрядцам-поповцам, по их чину молится... Но он, Иван, так полагает: Господь един для всех, и в рай всех праведных пустит, кто б как пальцы в знамении не складывал...

Последние сомнения отпали: казак был правильный.

– Бумаги-то в порядке? – спросил он уже для проформы.

– В порядке, вашбродь, – отрапортовал Белоконь, и даже потянулся рукой за пазуху, решив предьявить.

– Оставь, – махнул он рукой.

Не будь бумаги в порядке – не добрался бы казак сюда с южных краев. Разумеется, можно пересечь всю Россию хоть вдоль, хоть поперек, – без паспорта, без подорожной, вообще без единого документа. На каждом проселке рогатку не поставишь... Вот только появление на почтовых станциях при такой методе передвижения категорически исключается.

Тем временем подошел Северьянов и слабым, едва слышным голосом доложил:

– Беда... лошадей нет... и смотритель запил...

Дожили... Ближайшая к столице почтовая станция, между прочим.

– А я совсем плох, – продолжил Северьянов. – Думал, и сюда не доеду... Свалюсь, думал, с козел и помру...

Болезнь и впрямь развивалась стремительно: ввечеру выглядел унтер слегка занемогшим, а сейчас – больным до крайней степени. Щеки ввалились, на скулах алые пятна, глаза воспаленные...

– Ноги не держат, ва... барин, – пожаловался Северьянов; как ни был он плох, а в последний момент сообразил, сглотнул «ваше высокоблагородие» и заменил на «барина». – Знобит, в голове черти горох молотят... Подвел я вас, барин.

Он задумался на мгновение: тащить с собой Северьянова неразумно. Да и службу кучерскую тот уже не справит, не в силах. Но и бросать его тут, на попечение запившего смотрителя, не хочется.

– Не винись, Никифор, с любым случиться может.

Он приучал себя – и уже начало получаться – обращаться к Северьянову по имени, всегда, – и на людях, и наедине. Потому как барин, называющий кучера по фамилии, выглядит как белая ворона в стае ворон обыденных, серо-черной расцветки.

Только вот борода, приказ отпустить кою Северьянов получил из тех же соображений, покамест лишь портила дело: толком еще не выросла, выглядела длинной и густой щетиной, и напоминал якобы кучер более всего... ну да, беглого солдата. Теперь, с учетом новаций минувшей ночи, – изрядно занедужившего беглого солдата.

– Приляг в бричку, отдохни, – скомандовал он. – Я со смотрителем потолкую, вдруг да протрезвеет... А ежели фельдшер или доктор невзначай среди проезжих есть, к тебе пришло.

Он бы мог и сам сесть на облучок, управился бы. Нельзя... В мундире чиновника восьмого класса – ни в коем разе нельзя. Всякий, увидев такое, изумится и запомнит надолго.

Тут в разговор вмешался казак Иван Белоконь. При появлении Северьянова и видя, что вопросов у «вашбродя» как будто больше не имеется, казак отступил в сторону, но далеко не ушел. Занял промежуточную позицию: вроде как и не участвует в беседе с кучером, просто так тут стоит, воздухом свежим дышит, – но все слышал и все видел. А теперь вмешался:

– Так околודок же тут есть фелшарский, вашбродь! Во-о-н тамочки, за своротом, за ольхами не видать. И четверти версты не будет...

Раньше никакого околотка тут не имелось... Но все в жизни меняется, а он давненько не был в столице.

Он испытующе посмотрел на Белоконя, начиная понимать, отчего тот не уходил, хотя интерес «вашбродя» к его персоне по видимости иссяк. Урядник, понятное дело, по недостаточности средств ни на почтовых, ни на обывательских ездить не может. Добирался сюда с оказиями, на козлах с ямщиками, за малую плату.

Но здесь развилка, влево уходит дорога на Софию и Большое Кузьмино, – тот, кто довез сюда Ивана, туда свернул. А казаку бить ноги целый перегон не хочется, и он договаривался

с чухонцем, да в цене не сошлись. И тут, как дар небесный, «вашбродь» с серьезно занедужившим кучером, – можно не только добраться бесплатно, но и подзаработать малость.

Северьянов, услышав про фельдшера, не стал спешить забраться в бричку, а казак, не догадываясь, что взвешен и измерен, неверно истолковал значение пристального взгляда.

– Не извольте сумлеваться, вашбродь, в лучшем видеолодок: подфелшар там нашенский, не дохтуришка немецкий, от великого ума не залечит. Пьет крепко, но вечерами, а на службе блюдетя. И знающий: хошь те кровь отворит, хошь рожки поставит, и снадобьев с ма зями полка цельная.

Ты-то откуда то ведаешь? Не иначе как пьянствовал ночью со знающим подфельдшером, не имея где заночевать...

План действий вырисовывался такой: сначала смотритель и лошади, потом – Северьянов и околоток. Завтрак и все утренние процедуры отложить до прибытия, время раннее, а перегон невелик. Но вопрос с кучером надо решить немедленно.

– Слушай меня, казак. Я сейчас лошадей раздобуду, а ты соберись. Свезешь нас до околотка, потом меня – в город. Четвертак серебром. И водка с расстегаем в «Трехруках». В меру водки, в пропорцию.

Глаза у Ивана были черные, с бесинкой. И в них сейчас отчетливо заплескалась радость. Но лицо казак постарался сделать обиженное: как так, дескать, грех за такие труды сулить меньше полтины – столица тут уже под боком, чай, и цены уже столичные...

Торговаться не хотелось, и он сказал, упреждая:

– Ежели мало – иди, с чухной дальше толкуй. Я подменного ямщика дождусь, он хоть дороже, зато казна заплатит.

– Эх, вашбродь... Домчу ласточкой!

– Тогда собирайся.

– Дык нищему ж собраться, только подпоясаться. Тючок торочный у меня в ямщицкой стоит, – казак кивнул на дверь, – вот и весь пожиток.

– Ну так забирай...

И он двинулся к смотрителю, прихватив лежавший на облучке кнут. Кнут у Северьянова был не простой, хоть выглядел как обычный ямщицкий. Но погонять лошадей им надлежало с осторожностью, чтобы за перегон не истеранить животин до смерти.

И в беседе со смотрителем усердствовать не следовало. Чтобы не убить первым же ударом.

...Люди пьющие манерой своего утреннего поведения делятся на два разряда. Одни поутру спят, не добудишься. Другие, их меньше, в долгом сне не нуждаются: просыпаются ни свет ни заря и начинают промышлять опохмелку, докучая желающим поспать просьбами о чарке или деньгах, если же достаточны, – о компании.

Титулярный советник Ларионов, пулковский станционный смотритель, принадлежал ко второму разряду. И вместе с тем к подразряду питухов достаточных: перед ним уже стоял водочный штоф, – большой, осьмериковый, и едва початый.

Компании Ларионов не искал. Пил в одиночку, и пил уже несколько дней, судя по валявшимся вокруг штофам и полуштофам. Судя же по тяжелому духу, не проветривал, не мылся и не менял белье он столько же. Здесь смотритель все эти дни пил, здесь и спал, – ненадолго прикладывался на покрытый кошмой топчан и вновь вступал в борьбу с зеленым змием.

Лет Ларионову было немало, и изрядную их часть станционный смотритель посвятил служению Бахусу, отчего выглядел еще старше...

Под глазом у титулярного советника красовался огромный синяк, полученный, судя по оттенку, дня три назад. Сомнений нет – как бы ни развивался запой, манкировать своими обязанностями Ларионов начал уже тогда. И, видимо, был подвигнут на их исполнение, –

можно пари держать, гвардейцем, едущим по казенной надобности. Военные-армейцы тоже не сахар для нерадивых зрителей, но руки сразу не распускают.

А сегодня титулярному советнику не повезло еще сильнее...

В качестве увертюры к разговору кнут рассек воздух и хлестнул по штофу. Тот был добротный, с толстыми стенками, но разлетелся так, словно был бокалом ажурного муранского стекла... Чему удивляться не стоило – ежели умеючи махнуть, а он умел, то вшитая в кончик кнута пуля летит со скоростью пистолетной.

Штоф развалился. Сильно запахло водкой дурной очистки. На столе случился маленький потоп: смыл крошки, подтопил объедки и всерьез угрожал жизни двух невезучих тараканов.

Ларионов не издал ни звука. Разинув рот, он глядел на водочный потоп с ужасом и изумлением, словно Ной-пропойца, забывший по пьянке Божье повеление и не построивший ковчег. Здоровый глаз у Ноя Ларионова широко распахнулся, и даже щелочка другого глаза, подбитого и заплывшего, стала чуть шире.

Затем глаз и щелочка уставились на владельца карающего бича. Ужаса на лице Ларионова стало меньше, но не терпящая пустоты природа немедленно возместила ущерб лишней порцией изумления.

Наверное, зритель ожидал увидеть очередного гвардейца. Но увидел человека в мундире всего лишь Коммерц-коллегии, чиновники коей не славятся рукоприкладными выходками.

Но не объяснять же, что мундир никакого отношения к занятиям своего владельца не имеет, и выбран лишь ввиду того, что меньше вызывает подозрений: контора у Коллегии расквартирована в Москве, три экспедиции – в Санкт-Петербурге, а чиновники по разным надобностям разъезжают по всем губерниям, примелькались...

Объяснять не надо. Кнут все растолкует лучше.

И растолковал... Еще один свистящий взмах – и плетеная кожа змеей обвила ножку стула и буквально-таки выдрала его из-под зрителя.

Затем началась процедура протрезвления, вразумления и возвращения к служебным обязанностям, и, возможно, даже к семейному очагу, ежели таковой у пропойцы еще сохранился... Проще говоря, началась порка.

Хватило десятка или чуть более ударов – аккуратных, пуля ударялась об пол рядом с телом, а плетеный кончик рвал мундир и портил кожу, но плоть до кости не рассекал. Когда зритель вспомнил о своем дворянском достоинстве и о том, что таковое никак не предполагает телесных наказаний, и даже попытался сформулировать сию мысль, и даже был близок к успеху, – он решил, что достаточно. Вовремя подошел, что ни говори. Осилит бы зритель с утра хоть полштофа, его уже ничто бы не проняло...

Он прекратил экзекуцию, позволил Ларионову – покрасневшему и встрепанному – подняться на четвереньки, а затем и на ноги.

Взял за шиворот, подтащил к часто забранному окну, показал на двор.

– Бричку видишь? Вели заложить курьерских.

Ларионов, только что лицом напоминавший сваренного рака, побледнел. Стоял, растерянно переводя взгляд с брички на кнут. Затем попытался объяснить дрожащим похмельным голосом, очень вежливо и осторожно, чем может грозить не только ему, но и чиновнику Коммерц-коллегии самовольное распоряжение лошадьми, предназначенными исключительно для фельдъегерской службы и для важных персон, в генеральских чинах пребывающих.

Тут не просто в отставку пойти придется, с позором и аннулированной выслугой, – а у него до пенсионера не хватает всего пяти месяцев. Тут, милостивый государь, еще и несомненный визит в Петропавловку предстоит. В гости к обер-секретарю Шешковскому. А от этого господина, бывает, и баронессы пешочком домой уходят, когда он их отпустить соизволит.

Потому что в карету сесть не могут. И вообще сесть не могут, стоя потом кушают и спят на животе немалое время.

Так что выбор у него, у зрителя Ларионова, простой: порка обыденная либо порка с лишением пенсионера, за который он четверть века страдал на проклятой своей службе.

Вывод из сей речи не прозвучал, но подразумевался: хоть засеки, а курьерских не дам.

Степан Иванович будет доволен, когда услышит эту историю. Обер-секретарь Сената и фактический глава Тайной экспедиции потратил немало времени и сил, чтобы создать именно такую репутацию своей службе.

На самом же деле, ежели собрать всех дворян, якобы пострадавших от кнута «инквизитора», а слухами о пострадавших полнятся и обе столицы, и губернии, – собрать и заголить им якобы пострадавшие места, наплевав на приличия, то выяснится странное и удивительное... А именно то, что все свои показания они давали, даже пальцем не тронутые, – запрет государыни соблюдался строжайшим образом.

Иногда хватало просто мрачного вида казематов Петропавловки – не без задней мысли выбирал Степан Иванович место для присутствия, – и кнута, лежащего на столе... Иногда, для упорствующих, за тонкой перегородкой в соседнем помещении разыгрывали спектакль: кто-нибудь из нижних чинов хлестал арапником мешок с отрубями, а коллежский регистратор Пивобрюхов, талантом к лицедейству не обделенный, поначалу жалобно и натуралистически стонал, потом начинал вопить во весь голос... На том ломались даже записные упрямцы.

Сам он вступил в службу еще при Ушакове, когда кнут и впрямь был в чести, и даже баронессам, действительно, порою доставалось: иногда, как сегодня, приходилось вспомнить былое и напомнить другим, – но лишь вдали от присутствия и в мундире чужого ведомства... Рассказывать правду о нынешнем положении дел Ларионову он не стал. Нельзя, да и не поверит. Достал из потайного кармана бумагу, развернул перед носом зрителя. Скомандовал:

– Читай.

Титулярный советник ко всему прочему был близорук: сощурил правый, здоровый глаз, забегал взглядом по строчкам... Документ предписывал выдавать его предъявителю лошадей вне очереди, а при нужде и курьерских, для фельдъегерской службы и генералов предназначенных, – а в книгу станционную проезжего не вписывать.

Предъявителю меж тем показалось, что Ларионов суть документа уже понял, и теперь внимательно изучает лишь одну строчку... Имя запоминает, наябедничать решил, пропойца.

– Не туда смотришь. Сюда смотри – на печать и на подпись.

Подписали бумагу двое: генерал-прокурор Сената князь Вяземский и обер-секретарь Шешковский.

А на вписанную в документ фамилию и впрямь внимание обращать не стоило... Таких документов и таких фамилий он сменил множество. Назови ее кому в Экспедиции – не поймут даже, что речь идет об их сослуживце... Зато прозвище Каин все и всем объяснит.

Каином его прозвали коллеги, прозвали за глаза, не решаясь произнести в лицо, но он знал о том, разумеется. Прозвище придумано было ими лишь за отметину – за шрам, спускающийся с головы на висок. Но оказалось уместным, и не только за шрам.

За Авеля тоже.

II Беглый

От Пулково дорога шла под гору, бричка катила легко. Да и лошади курьерские не шли в сравнение с обычными подменными. Человек, назвавшийся Иваном Белоконом, правил ими с удовольствием, век бы так ездил...

Но иногда бег резвых лошадок замедлялся, – когда названный Иван оглядывался на полог брички и призадумывался: а кого он, собственно, везет? Придумать ничего не удавалось, и не понукаемые животные сбавляли ход...

Уже на станции он заподозрил, что ахсесор – личина, прикрывающая истинное нутро. Точно так же, как его самого скрывает от мира личина умершего Ивана.

Ну с чего бы, растолкуйте, устраивать чиновнику купеческих дел допрос случайно повстречавшемуся казаку? И зачем ему, чиновнику, знать, как величают по батюшке полкового командира Кутейникова? У чиновника, будь он взаправдашним, иные заботы должны быть, и познания совсем иные...

Пытал вашбродь «Ивана Белоконя» с умом, с подковыркой... Так и на съезжей вряд ли попытают... Едва отвертелся, не сбился, не спутался, благо и Иван ему не чужим был, и отчасти сегодня не Иванову, а свою жизнь пересказывал.

И кучер тот ряженный... Не в бороде даже недорощенной дело, бороду и на пожаре опалить недолго. Но даже когда отрастет борода, кучер на кучера будет походить, лишь сидя на облучке. Потому как с утра плох совсем был, едва по двору станции брел, – но все равно походкой не крестьянской. Не за плугом ему ходить доводилось, и не навоз в хлеву лаптями топтать. На плацу его гоняли, заставляли носок вытягивать да всей подметкой об землю бить... И самого, небось, шпрутенами били, за непонятливость... Крепко та наука въелась, ничем не вытравишь. А на отслужившего свой срок и подчистую уволенного кучер не похож, слишком молод. Да и не стараются отслужившие солдаты крестьянами притворяться – напротив, всем видом своим подчеркивают, что не землепашцы они и не курошупы, а герои отгремевших баталий, отставные воины государыни... Армяк или зипун отставник не наденет, невместно ему. Этот же – надел и вид делает, что и службы не знал, и шпрутеноев не нюхал.

А уж когда его как бы барин за кнут схватился и к зрителю пошагал – все сомнения растаяли: не тот, совсем не тот, за кого себя выдает. Не можно ахсесору кнутом титулярного учить, не по чину.

Генералы – особенно из молодых, кто волею государыни-матушки из поручиков да штабсов на самые верха вспорхнули – те могут, тем законы не писаны, они их сами сочиняют да государыне на подпись несут. Но ахсесор занюханный?! Не бывает...

В ту минуту названный Иван не выдержал, тишком прошел в станцию. И слышал через дверь: вашбродь без дураков, взаправду станционного лупцует... Не для блезиру кнут прихватил.

Он, за дверью стоячи, не стал дожидаться, чем та наука завершится. Вернулся к бричке и призадумался: с кем же таким-этаким нелегкая дернула связаться? Не лучше ли отказаться, пока не поздно, – маловато, дескать четвертака-то, – и дай Господь ноги от беды подальше?

Порешил остаться. Он в последний год все чаще и чаще принимал решения рискованные, пытая судьбу: да или нет, орел или решка? Раз за разом выпадал орел. Судьба-судьбинушка словно предлагала сыграть по-крупному, поставив голову на кон, и сулила великий выигрыш... Он не понимал, чего ждет от него судьба или к чему подталкивает, он метался и искал ответ у знающих людей. Люди говорили разное и не могли взять в толк, что он ищет... В лучшем разе ответ сводился все к тому же, что сказал старый фелшар в Лисаветграде, задумчиво разгляды-

вая шрам странной формы на его груди: «Ну чисто царский орел о двух головах... Пометила тебя судьба, братец, ох пометила... Для великих, знать, дел жизнь твоя сохранилась...»

Он и сам понимал, что помечен. Избран. Не мог добиться – для чего...

И сюда, на Пулковскую станцию, занесли все те же поиски ответа... Насчет сестры он солгал, сестра жила в Таганроге, и к питербурхским купчинам-мануфактурщикам Глазьевым его вела другая планида... Глазьевы держали связь со скитами Севера, с мудрыми старцами, ушедшими в затерянные пустыни... Может, те знали ответ? Касаемо своей веры он ихбродю не врал, но вырос в таких местах, что мог перекреститься и на тот манер, и на этот, и к иконе при нужде мог подойти по старому чину, подозрений не вызвав... Он взаправду считал, что Господь примет всех, не разделяя на никониан и раскольников.

Вот только помогут ли старцы сыскать, наконец, путь и предназначение? Уверенности не было, но куда еще податься, он пока не знал.

Началась его дорога, – извилистая, как полет летучей мыши, – несколько месяцев назад, в гарнизонном гошпитале Лисаветграда...

А до того, до тридцати почти лет, жил он самой обычной жизнью, как жили деды и прадеды на вольном Дону от века. На двадцатом году попал в службу, и пошло, как заведено: три года в полку, потом два года в станице на внутренней службе, потом снова в полк...

В первый же строевой срок подгадал на войну с Фридрихом, под самый ее конец. Больших баталей не случилось, но в поиски ходил и саблю с клинками прусских гусар скрещивал, был отмечен в приказе...

Вернувшись в станицу, засватался и женился – на есауловской казачке Софье, до службы он не с ней миловался-дролится, но та не дождалась. Любви большой меж ними не было, однако жили ладно, баба попалась годная, и по дому работающая, и все при ней. В положенный срок родили сына, – а потом снова в полк, в Польшу.

Большая война вновь прошла стороной, да и не было там такой войны, как минувшая, – то тут полыхнет, то здесь, но пожар покамест не занимался, а они с командой объезжали селения староверов, давно там обосновавшихся, и склоняли – кого лаской, кого таской – возвращаться из-под польского орла под расейский: одна голова хорошо, но две-то лучше, всем ведомо... Иные соглашались, иные нет. Кое с кем из старообрядцев свел знакомства, и позже они пригодились.

Жизнь катила по наезженному кругу: вернулся в станицу, заделал с Софьей девочку. Сам желал сына, второго, с одним-то, пока взрастет, разная напасть стрястись может, их-то вон у матушки шестеро мальчиков родилось, а до возраста только двое дожили... Но случилась дочка.

А чуть погода случилась война с турками, – нынешняя, доднесь тянущаяся... И вновь в полк, но теперь и полк, и он угодили в самое пекло.

Воевал справно, славу предков и Дон не посрамив. Стал подхорунжим, а после и хорунжим, за Бендеры получил личную благодарность графа Панина и рубль серебряный из графских рук принял за отвагу. Хотел на память тот рубль сберечь, да не сберег, пропил.

Обыденная жизнь обычного казака... И завершилась бы, как у всех: сложил бы голову в чужом краю, а то и уцелел бы, дожил до седин и выписался бы со службы, дождался бы внучат, рассказывал бы им про свои подвиги и про графский рубль...

Но все пошло иначе. Не то что голову не сложил – царапины не получил в жарких схватках с турками и крымчаками. А в Лизаветграде, на зимних хвартерах, не уберегся. Такая хворь скрутила, что отходил, к смерти готовился... Не его одного скрутила, в щелястом бараке полковой больницы вповалку лежали сорок с лишком душ, а рядом срочно сколачивали барак новый, для вновь заболевших... Говорили, что армия подцепила неведомую заразу от турок, басурманы тоже мерли, как мухи по осени.

Он умирал. Причастился святых даров у полкового священника, вместе с другими отходившими, – так рассказывали, сам он не помнил, и отходную молитву, над ним прочитанную, не услышал.

И умер. И пролежал два дня в холодной, и был отпет с другими в полковой церкви, и сгорела, среди прочих, тоненькая заупокойная свеча – его свеча...

Нижних чинов хоронили вповалку, в общей яме. Ему, как хорунжему, полагалась домовина, – пусть и плохонькая, из гниловатых досок слаженная.

Когда приколачивали крышку, он застонал. Негромко, но его услышали... Позже он иногда задумывался: кому достался тот гроб, где он успел полежать?

Из сорока с лишним душ, умиравших в больничке, выжил он один. Был отпет, чуть не зарыт, но выжил... Лекаря дивились. Он медленно шел на поправку, потом еще медленнее восстанавливал силы, на войну полк ушел без него.

Хворь оставила свои метки – два шрама на грудях от лопнувших язв, и на лядвях, у паха... А еще – наверное, что-то лопнуло в голове, и снаружи шрам не был виден.

Трудно остаться тем же, умерев и воскреснув... В списки полка, откуда был вычеркнут, его вновь вписали... Вписаться в размеренную жизнь допрежних времен он не смог.

Он не понимал, для чего оставлен жить... Но свято верил, что есть в том некий скрытый смысл и надеялся до него докопаться. Одно знал точно: жить, как прежде, не сможет.

Он испросил и без труда получил отпуск. На месте не сиделось, а в станицу возвращаться резона не видел: он – прежний он – умер, и Софья теперь вдова, а дети сироты... Он не знал, послала ли полковая канцелярия родным письмо, опровергающее известие о его смерти... Ему было все равно.

Поехал в Таганрог, не зная куда еще ехать. Там жила сестра, и муж ее с ходу втравил шурина в рискованную затею, попахивающую кандалами и Сибирью... Он, не задумываясь, тогда в первый раз сыграл в орлянку с судьбой, – без страха и сомнений, умершему и отпетому пугаться нечего.

Ему в тот раз выпал орел – попал в розыск, но сумел скрыться. Зятю и его друзьям выпали кандалы и решетка.

Потом было разное... Он стал беглым – одним из многих, бредущих по стране невидимыми тайными тропами куда-то по своим потаенным делам.

Он не брел. Он метался, не зная толком, куда ему надо попасть и к чему надо стремиться... Не единожды его ловили, но всякий раз он умудрялся вскоре сбежать. Судьба манила постоянной удачей, судьба намекала на ждущие его великие дела – но он не мог понять, на какие...

Спустя месяц после Таганрога он убил человека. Впервые убил не в бою, не на войне, – ради валенок и полушубка, чтобы не замерзнуть в холодной весенней степи, еще покрытой снегом.

В понятиях его прежнего то был грех и грех непростительный. Он новый не терзался ни мига: Господь сохранил не для того, чтоб окочуриться от мороза, и все сделано по справедливости.

Убивал и после, но лишь при нужде... Корысти в том не было. Но если бы он понял, в чем его стезя, и понял бы, что для пути по ней требуются деньги, – прикончил бы, не задумываясь, хоть тысячу человек, по алтыну за перерезанную глотку.

Его искали, и искали все с большим тщанием, розыск шел не только на Дону, но и по всем сопредельным южным губерниям. Он подумывал уйти в Азию, но однажды проснулся и двинулся в другую сторону – в Польшу. Там уже полыхала война, настоящая, не былые стычки. Он нашел знакомцев-староверов, те, как и прочие, не смогли помочь, но дали совет о северных скитах и братьях Глазевых...

Он сомневался, что сможет забраться так далеко тайными тропами. Места чужие, незнакомые, и люди живут другие, он будет там белой вороной, издали заметной...

И тем не менее двинулся в путь. Он начал уставать от своих бесплодных метаний. Заарестуют – значит, судьба шутовала, заманивала, чтобы под конец монета упала решкой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.